

*Пегромкие люди
Марии Метлицкой*



Читайте повести и рассказы

Мари Метлицкой

в серии «Негромкие люди»:

.....

Бабье лето

Понять, простить

Обычная женщина, обычный мужчина

Свои и чужие

На круги своя

Такова жизнь

Странная женщина

Незаданные вопросы

Прощальная гастроль

Цветы и птицы

Жить

Черно-белая жизнь

Дорога на две улицы

И всё это – жизнь

Плохой хороший день Алексея Турова

Можно я побуду счастливой?

Мемориальная
Почтовая марка



Я буду любить
тебя вечно



Москва
2023

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М54

Оформление серии *Петра Петрова*

В оформлении переплета использована фотография:
© BestPix / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Метлицкая, Мария.

М54 Я буду любить тебя вечно / Мария Метлицкая. — Москва :
Эксмо, 2023. — 320 с.

ISBN 978-5-04-190130-1

Когда любишь, кажется, это чувство навсегда. Ради часа, минуты с любимым человеком мы готовы отдать все, что у нас есть.

Но, увы, страсть со временем уходит, и вдруг, как на фотокарточке, погруженной в проявитель, проступает все то, что в ослеплении страсти мы не замечали или старались не замечать. И любовь очень часто не выдерживает такого испытания.

Но ведь бывает любовь на всю жизнь? Чувство, которое меняется, но не проходит? Когда становится понятно, что означает фраза «недостатки – продолжение достоинств»?

Герои этого сборника новелл ищут именно такую любовь. И готовы ради нее на любые лишения и трудности.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-190130-1

© Метлицкая М., 2023
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2023

Мандариновый лес



Наташа была уверена — счастливее времени не было. Нет, не так — конечно же, было! Было, когда появился Сашенька. Но тогда, в те далекие годы, она была оглушительно, ошеломительно счастлива. Без всяких там оговорок и ожиданий.

— А что мы с тобой ели слаще морковки? — сердилась подруга Людка.

— Дура ты, — отвечала Наташа. — При чем тут морковка? Любовь была, понимаешь? Лю-бовь!

Людка ехидно уточняла:

— У кого? У тебя?

— У меня, — подтверждала Наташа. — И знаешь, иногда этого бывает достаточно.

— Для идиотов, — хихикала Людка.

Наташа не отвечала.

Кто может отнять у нее это? Кто вообще может отнять воспоминания? Тем паче, что воспоминания подтвердились напоминанием — ежедневным и ежечасным, самым счастливым и самым тревожным. И напоминание это — любимый сыночек Сашенька.



В худучилище ее затащила все та же Людка, подруга детства, которая уже год работала там натурщицей. Людка была верной, если что — в огонь и в воду, но при этом ужасно вредной. Характер — дерьмо. Вся в свою мать тетю Раю — ох, не дай бог попасть ей на язык! Но приходилось мириться, что делать. У всех есть недостатки.

Людка уговаривала долго: работа натурщицы — фигня, сидишь, в ус не дуешь, сплошные перекуры, делать вообще ничего не надо.

— Вааобще! — Подруга делала большие глаза. — Сиди себе и позевывай.

— Ага, голый! — хмыкала Наташа. — Нет, никогда.

— Не голый, а обнаженной, — смеялась Людка. — Дура ты бестолковая. Ой, прям все так и мечтают поглазеть на красавицу Репкину. На прелести твои смотреть никому неохота. Хочешь — вообще не раздевайся, будут писать портрет. Или бюст. А хочешь — сиськи прикрой. Про трусы я вообще не говорю — трусы с тебя и так никто не стянет! — И с ехидным смешком добавляла: — Без твоего, конечно, согласия!

Наташа работала в универмаге младшим продавцом в галантерейном отделе. Деньги копеечные, весь день на ногах, покупатели нервные, в очередях сплошные скандалы и драки. В общем, ад и ужас. Да к тому же противная заведующая, злая, как собака на привязи, чуть что — сразу выговор.

К дефицитному товару Наташа допущена не была — еще чего! «Привилегии надо заслужить», — говорила заведующая. Тоже мне привилегии — польская пудра или югославская тушь для ресниц. Но было обидно, что говорить. Видела, как другие обдeldывают делишки — берут пачками, а потом продают на сторону. И, конечно, с наваром. Правда, вряд ли она бы так смогла.

Последней каплей были немецкие колготы «Дедерон».

— Три пары? — возмутилась заведующая. — Ну ты и нахалка!



Да, три — себе, Людке и сестре Таньке. В подарок на Новый год. Но нет, не дала — перебьешься! От обиды Наташа расплакалась и, наревевшись в подсобке, отнесла заявление в отдел кадров.

Оставаться в торговле не хотелось. «Не мое», — говорила она. А куда податься? Образование восемь классов, талантов ноль. Ни денег, ни полезных знакомств — ничего.

Учиться тоже не хотелось. Если честно, вообще ничего не хотелось. А вот замуж хотелось, и детей тоже. Квартиру свою, чтобы чистоту наводить, украшать, цветочки там на подоконнике, герань и фиалки, чтобы гладить мужу рубашки, варить борщи и печь пироги. Скучные мечты, но что поделать — такая она получилась.

Сестра Танька работала на заводе. Пахала как лошадь, приходила домой и сразу заваливалась в кровать. Поспит пару часов, а после поест, иначе кусок в горло не лезет, такая вот жизнь.

Родителей не стало, когда Наташе было пятнадцать. Ушли одновременно, «почти хором», как говорила Людка. Мучили друг друга, ругались без остановок, а друг без друга не смогли.

Похоронили маму, запил отец. Горько запил, страшно. И через полгода инфаркт. Выхаживали, но через полтора года и его проводили. Перед смертью все плакал, просил:

— Девки, вы меня рядом с мамкой похороните. Лягу рядом и буду прощения просить. Может, простит.

Остались Наташа с Танькой вдвоем. Ну и Людка, конечно. Почти все время Людка торчала у них — дома несладко. Пили и папаша, и старший брат, оба буйные. Как нажрут — скандал и драки.

Мать, тетя Рая, тоже с характером. Орет так, что кровь в жилах стынет. «Собачья жизнь, — говорила Людка. — Но у меня будет все по-другому».

Наташа в это не верила — откуда по-другому, с чего бы? Мало кто выбирался из их Вороньей слободки, по пальцам



пересчитать. Как говорили, где родился, там и сгодился. Хотя в слободке родилось поколение Таньки и Наташи, а родители были приезжими, лимитчиками. И называли их коротко — лимитой. Жили все почти одинаково: женились на своих, играли пьяные свадьбы, на столах обветривался винегрет и подсыхала толсто нарезанная колбаса, клялись в вечной любви, при слове «горько» считали до десяти, били на счастье дешевые мутноватые бокалы. Счастливая невеста рдела под тюлевой фатой, а уже через год повторяли судьбы родителей и соседей — скандалы, побои, разбитые скулы, затекшие веки, милиция.

В общем, зря били бокалы — какое там счастье.

Вот Танька, сестра, вполне симпатичная. Точнее — была симпатичной. Синеглазая, белокожая, волосы нежные, тонкие, льняные. Раньше была веселушкой — смешливая, анекдоты рассказывала, пела хорошо, частушки как заведет, так все вповалку.

И что? А ничего. Ушло все, как не было. В двадцать пять от веселой и симпатичной Таньки ничего не осталось, просто другой человек. В глазах усталость и сплошная тоска. Как говорится, была Танька, да вся вышла.

Завод построили после войны, в сорок девятом, на самой окраине города. Вокруг тогда были деревни. И поселок, слободка, начал застраиваться вокруг завода — жилье для рабочих. Отдельный город, даже не верилось, что в полчаса Москва.

В пятидесятых за жилыми бараками понастроили курятников и сараюшек для скота. Нет, коров не держали, а поросят запросто. Сажали и огородики, в основном картошку. Заводские гордо называли себя москвичами, но в душе оставались деревенским людом, тоскующим по земле и хозяйству. Танька рассказывала, как дурниной орал соседский петух — будильник не нужен.

В их рабочем районе, построенном вокруг завода и прозванном Вороньей слободкой, все женщины после свадьбы



на следующий же день расставались с молодостью и радостями. Впрочем, и до замужества радостей было немного.

Мужики тяжело работали и много пили, женщины тоже работали, рожали детей, стирали в корытах, и топили печки, и без конца бились с пьющими мужьями.

Мало кто выбирался в другую жизнь, мало кому удавалось.

Наташа про себя знала — она бесхарактерная, в маму. Да и отец был слабоват. Неплохой человек, когда трезвый. Но как выпьет — беда. И Танька, сестра, сразу со всем смирилась и фыркала: «Все так живут, чем мы-то лучше?» Одна Людка была уверена, что выберется: «Ни за что здесь не останусь — руки на себя наложу, а не останусь!»

В шестидесятых бараки сломали и быстро настроили типовые пятиэтажки. Квартыры в них были плохонькие, но зато отдельные. Успели получить двухкомнатную до смерти мамы — правда, пожила она в ней совсем немного, но порадоваться успела. В одной комнате родители, в другой Танька с Наташей.

А после смерти родителей стали и вовсе владелицами отдельных комнат. Но вскоре Танька вышла замуж и привела в дом своего Валерика.

Трезвый Валерик был тихим и мрачным, молча приходил с работы, молча съедал обед и заваливался спать. А по выходным и праздникам «уходил в загул», выпивал. Драчливым не был, но делался таким разговорчивым, что остановить его не было сил. Наташа жалела бедную Таньку и сменяла ее: «Давай, Валер, — вздыхала она, — пришли свежие уши». А измученная сестра уходила поспать.

Наговорившись, Валерик так и засыпал за кухонным столом. Тощий, страшный, в голубой майке-алкашке, с тауировкой на хилом плече.

Наташа не могла понять, что Танька нашла в этом уроде? А сестра считала, что ей повезло. Во-первых, не лупит, а во-вторых, отдает всю зарплату.



— Вот уж счастье! — презрительно фыркала Людка и с тяжелым вздохом добавляла: — Ну по Сеньке и шапка.

Конечно, обидно, но по сути Людка права.

После увольнения из универмага Наташа засела дома. Тоска. Покормить Валерика, выслушать его бредни — зять был косноязычный до тошноты. И все по кругу, по кругу.

Стирка, готовка, уборка — надоело до чертей. В общем, Людка уговорила ее пойти в училище. Сработал главный аргумент — там хоть нет этих рож. Народ вежливый, интеллигентный — одно слово, художники.

Училище находилось недалеко от метро «Таганская». Перед зданием Наташа заробела, остановилась. Как-то не по сердцу ей была эта работа. Но хмурая Людка толкнула ее в спину:

— Что встала? Пошли!

По коридорам спешили студенты — сосредоточенные, важные.

— Деловые, — усмехнулась Людка.

В отделе кадров все прошло как по маслу, и Наташе объявили, что заступать она может хоть завтра.

Видя ее растерянность, Людка смилостивилась и потащила ее по классам.

От волнения Наташа вспотела, но отпустило быстро — ничего страшного, никаких неприличностей, никаких голых тел, все прикрыто и пристойно.

А ночью все равно не спала, психовала.

В восемь утра встретились у подъезда. Людка хихикала:

— Ну что, ударница труда? Готова к подвигам во имя искусства?

— Отстань, — отмахивалась Наташа. — Не цепляйся, репей!

Раздевались в комнате для натурщиков. Увидев так называемых коллег, Наташа застыла. Ничего себе, а? Еле живой древний дед на полусогнутых, синих от разбухших вен ногах, сильно пожилая и очень толстая тетка с бордовыми растяж-



ками на животе, молодой, нездорового вида парень, которого она тут же про себя окрестила «чахоточным», и хмурая, недовольная девушка с огромным, вплолица, страшноватым красным пятном.

«Ну и публика, — подумала Наташа и успокоилась. — А я еще переживала!»

Тоненькой она тогда была, былинкой-тростинкой. Тоненькой и хорошенькой: легкие светлые волосы, серые глаза, чуть вздернутый нос. Ничего особенного, но милая. Он так и говорил: «Ты очень милая».

Наташа ему верила. Как она ему верила! Всегда и во всем.

Но это было чуть позже.

В общем, ничего страшного в училище не оказалось, зря психовала. В классе ее усадили на стул, стоящий на небольшой круглой сцене, которая называлась подиумом, и попросили сидеть не двигаясь. Сорок минут сидеть, десять на перекур. Наташа не курила, а в объявленный перерыв толпа студентов, как оглашенная, рванула в курилку. И еще долго по классу витал горьковатый и крепкий дух табака.

Писали портрет. Преподаватель по фамилии Хорецкий, немолодой, иконописно красивый, седовласый и черноглазый сурового вида мужчина, строго, как надсмотрщик, наблюдал за залом и натурой. Говорили, что у Хорецкого молодая красавица жена, кажется, из балетных, пятая или шестая по счету, и малолетний ребенок. Еще говорили, что в него влюблены все студентки и преподавательницы.

Хорецкий недовольно хмурился, цыкал на студентов, резкими движениями поправлял Наташины волосы и поворачивал ее голову. От его сильных, холодных и ухватистых движений Наташа вздрагивала.

Студенты были доброжелательны, дружелюбны и нейтральны: «Привет — привет, пока — пока». Все. Она понимала — воспринимают ее исключительно как модель для наброска, рисунка или портрета. Все остальное их не интере-



совало. А вот она с интересом разглядывала студенческую братию.

Ну вот, например, Оля Кувалдина. И вправду Кувалдина — высоченная, здоровенная, с грубым, рябоватым лицом, бесцветными губами и серыми, холодными, стальными глазами. Как ей подходит эта фамилия! Оля считалась негласным гением, и даже суровый Хорецкий ее нахваливал.

На его похвалы Оля реагировала спокойно. С достоинством кивая и сведя брови, говорила, что надо стремиться к лучшему.

Или Милочка Гордеева, внучка академика живописи, хорошенькая, как игрушка: тонкая талия, длинные ноги, светлые локоны, карие глаза. Милочка была легкой и легкомысленной. И учеба, и лекции, и семинары, и натура с пленэром ее раздражали. Она крутила хорошенькой головкой, громко вздыхала и с тоской поглядывала в окно — хотелось на волю.

Катю Самохвалову, нездорово полную, рыхлую, с вечным страданием на несчастном, отечном лице, привозили в училище в инвалидном кресле, и мама караулила дочь до самого конца занятий. Говорили, что Катя талантлива, но жить ей осталось немного — страшная болезнь съедала ее изнутри. Наташа старалась на нее не смотреть — тяжело.

Из парней она выделяла троих — Булкина, Карпенко и Галаева. Чингиза Галаева, первого красавца курса, а может, всего училища.

Сеня Булкин всех веселил — был по природе клоуном. Травил анекдоты, рассказывал байки и, кажется, не боялся самого Хорецкого. Сеня крутил роман с Милочкой, но вскоре они расстались.

Вася Карпенко, родом из маленького поселка в Восточной Сибири, как сам говорил, из медвежьего угла. Был он высок, темноволос и светлоглаз. И если бы не здоровенный картофельный нос, то Васю Карпенко вполне можно было бы назвать красавцем.



Вася был самым старшим, поступил после армии и всем казался пожившим и опытным мужиком. Жил в общежитии, подрабатывал дворником, зимой ходил в военной шинели и кирзовых сапогах. Народ посмеивался, что это всего лишь образ эдакого деревенского мужика, неловкого и наивного лаптя, а на деле Васек не так прост, и именно он сделает большую карьеру. Кстати, так все и вышло – вскоре Вася женился на дочке какого-то важного партийного босса, покинул общагу и переехал в хоромы на улицу Герцена.

Чингиз Галаев был... Нет, не так – он казался Наташе богом и был красив, как самый настоящий бог: среднего роста, худошавый, но крепкий, широкоплечий, как говорили – жилистый. С длинными, до плеч, блестящими черными волосами и черными, невыносимо глубокими и грустными глазами, опущенными густыми, «девичьими», загнутыми кверху ресницами. На острых, выдающихся скулах синела щетина, рот был красивый, узкий, плотно и сурово сжатый.

Его руки, тонкие, нервные, изумительной красоты, Наташу завораживали – она смотрела, как он держит карандаш, как в волнении крошит мелок, как сосредоточенно смешивает краски на палитре, как осторожно пробует ворс кисти. Все это было зрелищем волшебным, чарующим, гипнотизирующим. Весь его облик: узкие потертые джинсы, грубые армейские башмаки, широкий растянутый свитер, весь он, молчаливый, серьезный, нахмуренный, ее завораживал.

Пребывая в каком-то мороке, почти забытия, словно под не отошедшей еще анестезией, Наташа поняла, что смертельно влюбилась.

Чингиз ни с кем не дружил. Так, по-дружески бросит: «Привет, как дела, что нового?» Но ответ, похоже, его не интересовал. Наташа видела, как он мрачнел и скучнел, пытаясь закрыться, поскорее сбежать от чьих-то ненужных откровений, какая нескрываемая скука была написана на его прекрасном лице, когда кто-то рассказывал ему свежий анекдот, смешной случай, какую-нибудь новость.



Теперь вся ее неинтересная, пресная, ужасно скучная жизнь наполнилась смыслом — она полюбила.

Полюбила без всякой надежды на взаимность: где он, этот строгий и невозможный красавчик, подступиться к которому не решаются даже самые видные студентки, он, несомненный талант, хмуро и осторожно признанный самим Хорецким, и где она, скромная, молчаливая натурщица из Вороньей слободки, рабочего поселка, попавшая сюда случайно, по стечению обстоятельств?

Да нет, ни о чем она не мечтала. Какое? Видела же, видела и злилась, расстраивалась до слез, как крутятся возле Чингиза та же Милочка и высоченная блондинка со старшего курса, красивая до невозможности, зеленоглазая и пышногрудая, в тугих, обтягивающих джинсах, с блестящими кольцами на холеных руках. Где все они, эти модные, смелые, нахальные и недосыгаемые московские девицы, и где она, Наташа Репкина, сирота, околзаводская нищета, обычная, каких тысячи. Вон, на каждом шагу! Даром что миленькая — таких на рубль пучок!

Людка, конечно, все углядела — правильно говорят, глаз-алмаз, — перехватила ее взгляд и расхохоталась. Ну и началось воспитание:

— Приди в себя, посмотри в зеркало, нищета, подзаборье. И вообще — что в нем особенного? А, ну да — загадочность! Ну если это главное! Ты лучше на Ваську внимание обрати — вот этого можно охомутать, обработке поддастся. Опять же, свой, простой и незатейливый. Хотя, — и Людка со вкусом затянулась, — лично мне муж-художник не нужен. Не тот контингент. Кто там знает, кому повезет? Лотерея! Кто из них станет известным, у кого будут заказы и звания? А если нет — тоска-а-а! — тянула Людка. — Тоска и нищета. Ты мне поверь, я все про них знаю! Муж, Натка, нужен с серьезной профессией! А эти мазилки-мурзилки — так, ерунда! А про этого южного красавчика ты вообще забудь, поняла? — в который раз хмурилась Людка. — Раз и навсегда, усекла?



Да что тут не усечь — сама понимала. Только сердце не слушалось, у него свои правила и свое расписание.

Насчет подработки Людка не соврала — не часто, но студенты приглашали натурщиц для частных сеансов. Трешка в час, шикарная халтура! Чаше кооперировались — нищая студенческая братия выкручивалась, как умела. Наташа была рада любой подработке, видела, как Танька выбивается из сил, пытаюсь прокормить семью.

А однажды случилось невозможное — к ней подошел он, сам Чингиз Галаев. Кажется, был смущен. Отвел глаза, когда заговорил про деньги. В общем, смугился окончательно.

Да и Наташа стояла чуть жива. Залепетала что-то невнятное, дурацкое:

— Не надо денег, я и так... помогу! Что вы, мне совсем не сложно, да и времени у меня навалом, честное слово!

Галаев посмотрел на нее с удивлением:

— Ну об этом и нет речи, любая работа должна быть оплачена.

Он говорил что-то еще, но она уже не очень слушала и не очень понимала. В голове стучало одно — он пригласил ее в мастерскую. В свою мастерскую. Они будут вместе. Одни.

Лишь бы не задохнуться от этого счастья. Лишь бы ничего не сорвалось и он бы не передумал! Лишь бы все срослось, и срослось поскорее!

— Когда? — переспросил он и задумался. — Ну, скажем, в субботу после занятий? Тебе удобно?

Мелко закивав, она затараторила:

— Да, да, очень удобно! Вы не волнуйтесь, я не передумаю, нет! Ага, значит, в эту субботу? Сразу после занятий? — повторяла она.

Удивленно вскинув брови, он молча кивнул. А Наташа так и осталась посреди коридора — растерянная, обалдевшая и самая счастливая, самая. Оставалось дожидаться субботы. Оставалось просто дожить.



Дома была тоска. Когда родился племянник, жизнь стала совсем невыносимой. Танька родила раньше срока, отсюда и все последствия – Ростислав, Ростик, был хиленьким, слабеньким и цеплял все подряд, от простуды до воспаления уха, от кишечных расстройств до пневмоний. Ел плохо, спал отвратительно, и Наташа, глядя на этого скрюченного, дохленького, с вечной гримасой страдания и недовольства ребенка-червячка, горько вздыхала: вот это и есть пресловутое материнское счастье? Кажется, да.

Так и жили: Валерик пил, племянник орал, а измученная Танька валилась с ног. Придя из училища, Наташа вставала к плите и корыту, а после забирала маленького, давая сестре хоть немного поспать.

После ужина уходила к себе, только чтобы не слышать семейных скандалов. Затыкала уши ватой и читала «Графиню де Монсоро» или «Графа Монте-Кристо». Вот где была настоящая жизнь! Настоящие страсти, интриги, страдания! Красивые люди в красивых одеждах, настоящая любовь, безжалостное предательство и глубокая, честная верность.

Выглядывать за окно не хотелось, выходить на кухню тоже. Как там было тоскливо, как мелки были проблемы, ничтожны люди, как скудно и некрасиво им, этим людям, жилось!

В субботу после занятий она караулила Галаева в коридоре. Хорошо, что никто не дергал, не доставал и не подтрунивал – у Людки был выходной.

Галаев вышел из аудитории, и Наташа почувствовала, как бешено, навывлет, заколотилось сердце. А если он забыл или передумал? А если договорился с кем-то другим? В панике чуть не бросилась ему под ноги. Но нет – увидев ее, он сделал ей знак:

– Привет.

В бессилии Наташа прислонилась к стене. Показалось, что внутри у нее ничего, только воздух. И как трясутся ноги, только бы не упасть!



Через полчаса они зашли в метро. Уставившись в одну точку, Галаев все так же молчал. Но он был здесь, рядом, на расстоянии каких-то ничтожных полуметров. Да нет, даже меньше. Вот он, тут, рядом с ней, и Наташа чувствует его дыхание, его запах: запах кожи, волос, одежды. Обоняние обострилось до невозможного.

— Выходим, — коротко бросил он на станции «Парк культуры».

По дороге заговорил, объяснил:

— Мастерская, как понимаешь, не моя. Живу там на птичьих правах — сторожу, караулю. Хозяину мастерской она теперь без надобности, ушел в начальство, так что мне повезло. Ничего особенно не требует — плати коммуналку, и все. Ну вот и пришли, — кивнул он на лестницу в полуподвал. — Мои апартаменты. Вернее, не мои. — Галаев улыбнулся, обнажив прекрасные, ровные и невозможно белые зубы.

Наташа стала спускаться по корявым, кривоватым ступенькам. Он оглянулся и подал ей руку — прохладную и легкую.

«Наверняка он и не знает, как меня зовут, — подумала она. — Интересно, захочет спросить?»

В небольшой, полутемной и страшно захлавленной мастерской было холодно. В углу стояла буржуйка. Наташа вспомнила, что у них такая была в бараке. Тепло буржуйка отдавала щедро, но и вылетало оно моментально.

Чингиз ловко затопил печурку и поставил огромный алюминиевый, до черноты закопченный чайник.

К чаю нашлось влажное, рассыпающееся печенье, засахаренное варенье из уже непонятных фруктов и даже плавленый сырок «Волна» — в общем, пир на весь мир.

Комната была уставлена непонятными и, кажется, ненужными вещами — кроме трех облезлых мольбертов в ней расположились узкий диванчик с кучей подушек и одеялом без пододеяльника, торшер с прожженным абажуром, полное мусора дырявое, кривое, без крышки ведро, два стула солид-



ного возраста, кресло с рваной обивкой, торчащей пружиной и отломанным подлокотником, у стены несколько ящиков, самодельная полка с посудой — разномастными чашками с отбитыми краями, казенными, явно из общепита, тарелками, а в мутноватой пол-литровой банке, как букет, торчали простые алюминиевые гнутые вилки и ложки. Там же, на полке, в рядок стояла увесистая пачка быстрорастворимых супов. В углу — огромный лохматый веник с совком, у стен — повернутые к стене холсты на подрамниках и на всех возможных поверхностях — тюбики с красками, старые использованные палитры, кисти всяких размеров, банка с олифой и растворителями, два мужских гипсовых бюста, знакомых по училищу, но по именам героев Наташа не знала.

Пахло проросшей гнилой картошкой, которая обнаружилась в коробке за креслом, растворителями, олифой, масляными красками, мышами, дешевым вином, стойким табачным духом, нечистым бельем, нежильем и убогим, холостяцким бытом.

Но впечатления это не портило — она впервые попала в святая святых, мастерскую художника.

После чая Наташа согрелась, и Галаев предложил ей начать.

Он долго искал ракурс, поворачивал ее и так и сяк, наклонял голову и, попросив поднять подбородок, подтащил к ней калечный торшер, который, как ни странно, включился. Но света было мало, это понимала даже она — какой уж тут свет без единого окна, с тусклым светом от торшера и лампочки Ильича на потолке.

— Ничего не поделаешь, — хмуро бросил Чингиз. — Твой портрет назовем «Портрет девушки в сумерках».

Ах, как ей понравилось это название!

Девушка в сумерках сидела боком, положив руки на спинку стула, а голову на руки, и смотрела куда-то вдаль, правда, «даль» оказалась помойным ведром и сломанным креслом. Но все это было неважно. Важно было одно — она



здесь, рядом с ним, с самым прекрасным, самым красивым, самым талантливым мужчиной на свете. Вдвоем.

После сеанса они снова пили чай, доедали крошившееся печенье, выскребали со дна непонятное варенье — Наташа предположила, что клубничное.

Галаев рассказывал ей о себе. О маленьком селе в долине реки Каракойсу в Нагорном Дагестане, строгих вековых, неотменяемых обычаях маленького народа, о своих предках, медночеканщиках по мужской линии и женщинах, ткающих ковры.

С нескрываемой гордостью он говорил, что еще никому — никому, ты поняла? — никому и ни разу не удалось завоевать его храбрый и гордый народ. Рассказывал, как аварцы уважают пожилых людей, как прислушиваются к их мнению, что у них до сих пор обязательно сватают и по-другому не бывает. А если кто-то ослушается и поступит по-своему — позор для семьи и кровная месть. Правда, спустя какое-то время ослушавшихся и сбежавших прощают, но все равно это позор, и скандал неизбежен.

Наташа слушала, открыв рот. Все это: обычаи, история и традиции маленького народа, о котором она раньше не слыхивала, казались ей сказкой. И это сейчас, в конце двадцатого века?

— Выходит, ты тоже женишься на своей? — со вздохом уточнила она. — Раз так принято?

Чингиз пожал плечами.

— Ну... — протянул он. — Может, и так. Только я отрезанный ломоть, я уже, — запнулся он, — немного другой. Я ведь уехал. Да и аварки в Москве не найти!

Наташа чуть успокоилась — выходило, что не все потеряно.

У двери он протянул ей три рубля:

— Твоя зарплата.

Вздвгнув, она отскочила, как от змеи:



— Нет, нет, что ты, не надо! У меня есть зарплата! Нет, и не уговаривай, я не возьму! Ни за что не возьму! — И тихо, осторожно добавила: — Мы же... друзья?

Он посмотрел на нее с удивлением и деньги все же убрал, хотя и добавил, что это неправильно:

— В конце концов, ты потеряла свое время, которое могла потратить на друзей, сходить в кино с молодым человеком или с подругой.

Наташа сдержалась, чтобы не рассмеяться. С молодым человеком? С друзьями? Нет у нее друзей, Людка не в счет, Людка ходит в кафе с другими. И молодого человека у нее нет, а есть одиночество и любовь. К нему, к Чингизу.

На Остоженке Наташа стала частой гостьей, пару раз в неделю уж точно туда приходила. Работали, пили чай, иногда Чингиз что-то рассказывал, но чаще всего молчал. И Наташа, неразговорчивая от природы, привыкшая, что ее мнение вряд ли кого-то интересует и ей, необразованной, серой и скучной, нечем делиться, тоже молчала.

Как-то он пошутил:

— А из тебя, милая, выйдет отличная жена. Молчишь, со всем соглашаешься, никогда не споришь, и все тебе нравится.

Наташа покраснела и промолчала. Но на одном настояла — на субботнике. За окном расцветал теплый май, распускались молодые липкие листочки, пахло черемухой и прибитой после короткого дождя пылью, свежестью — в общем, пахло весной. Во дворах, учреждениях, школах и институтах раздавали метлы и грабли. По-спортивному одетый народ вяло сгребал прошлогоднюю листву и подметал разбросанный мусор. Потихоньку прихлебывая тайком принесенный портвейн и закусывая его незатейливым плавленым сыром, мужики прятались за кустами, а уставшие женщины, присев на скамейки, доставали термосы и домашние бутерброды. Семейные торопились домой. Семейные женщины, но не мужчины — для тех была вольница.



После субботника во дворе училища Наташа подошла к Чингизу. По счастью, он был один.

— Ко мне, на уборку? — удивился он. — Да что ты, зачем? Там же авгиевы конюшни, не разгрести! Да и вообще, зачем тебе это надо?

— Надо, — настаивала она. — Ну потому что... — Чуть не вырвалось «я же там бываю».

Вовремя спохватилась. А вдруг он ответит: «Не нравится — не приходи!»

Наконец Галаев согласился.

Проголодались и по дороге купили сыру, колбасы, каких-то консервов.

После уборки — и вправду, работы там было на несколько дней — сели пировать. Галаев так и сказал:

— Сегодня у нас пир и праздник — День чистоты.

— Ну до чистоты тут далеко, — засмеялась Наташа.

В тот день после импровизированного ужина Чингиз впервые показал ей свои работы. На повернутые холсты падал скупой и тусклый полуподвальный свет. Но именно он, этот свет, делал их загадочными и необычными.

Наташа стояла как замороженная.

Нет, она ровным счетом ничего не понимала в живописи, даром что уже полгода работала в художественном училище. И ни на одной выставке не была, ни в одном музее.

— Ты не была в Третьяковке? — Удивлению Чингиза не было предела. — Как же так, ты же москвичка, прожила здесь всю жизнь!

Наташа расплакалась. Боже, как было стыдно! Но как ему объяснить, что никакая она не москвичка, не столичная жительница, а заложница тухлой Вороньей слободки, где свои правила и свои обычаи? Да нет, все не так, прав Чингиз. И не в родителях ее дело и не в бедной, замученной Таньке. Дело в ней. Это она темная убогая и жалкая дура, никчемная и нищая духом.



— Ладно, — смутился он. — Свожу тебя в Третьяковку. И в Пушкинский свожу. Что я, дурак, к тебе пристал? В конце концов, ты с меня денег не берешь, говоришь, что мы друзья, а я тут... Нравоучаю. Прости, а? Простишь? — Он взглянул Наташе в глаза.

Она и не думала обижаться! Да разве только это она бы простила? Она бы ему простила все, абсолютно все — предательство, измену, воровство и даже убийство! Только бы он был здесь, рядом с ней. Только бы смотреть на него, слушать его голос, видеть, как он хмурится, прикусывает губу, сводит брови, оттирает от краски руки, откидывает со лба густую черную челку. Она готова на все, лишь бы быть с ним.

Никогда Наташа не ощущала себя такой счастливой.

Да, картины его были странными. Странными, необычными, сказочными. Ну вот, например, три разноцветные птицы на дереве. Ни таких птиц, ни такого дерева она никогда не видела — даже в книжках про пернатых или про растительную жизнь.

У дерева был оранжевый ствол и голубые листья. Разве такое бывает? А птицы? Вот эта, сиреневая с фиолетовым клювом и красным хвостом? Или белая, как мука, с серебристыми крыльями и синими, человеческими глазами с огромными, круто загнутыми ресницами? Разве у птиц бывают ресницы? Или вот третья — черная, блестящая, покрытая не перьями, а как будто шерстью? Да, да, настоящей мохнатой шерстью, не птица — зверек! Зверек с зелеными, крыжовенными глазами! Чудеса. «Фантазия художника, — как говорил Хорецкий и недовольно добавлял: — Мне здесь ваши фантазии не нужны, мне нужны пропорции, точность и геометрия».

Никакой геометрии в картинах Галаева не было и в поmine.

С трудом отведя глаза от загадочных птиц — а заморозили они ее не на шутку, — Наташа увидела другую картину.

— Что это? — вздрогнула она.



Мандариновый лес



— Мандариновый лес.

— Лес? — хрипло повторила она. — А разве такое бывает? Чингиз молча развел руками.

Фантазия художника, вспомнила она. Все правильно, совсем необязательно писать так, как есть на самом деле, — вырисовывать детали, лепестки ромашек, бутоны роз, правильные глаза и руки, пуговички на рубашке, складки на платье. Художник имеет право писать так, как видит и представляет. Ну есть же писатели-сказочники. Выходит, есть и художники-сказочники. Ее любимый был из таких. Волшебные разноцветные птицы, несуществующий мандариновый лес...

Мандариновый лес. Картина была темной, хмурой, немного пугающей. На изумрудных елях висели мандарины. Но вот Чингиз включил верхний свет, и мандарины зажглись, вспыхнули, как маленькие лампочки, засияли, озаряя золотистым светом и темный лес, и почти черную землю. Картина посветлела, ожила, забликовала. И Наташе показалось, что она чувствует горьковатый и острый запах мандариновой кожуры.

Чудеса. Теперь она поняла, о чем говорил Галаев. Ей хотелось смотреть на картину снова и снова.

— А что это за лес? — спросила она. — Из какой-то сказки?

Он усмехнулся:

— Ну да, сказочный лес. Я его сам придумал. Знаешь... — Он помолчал, словно раздумывая, говорить или нет. — Может, приснилось, точно не помню: за тридевять земель есть такой лес. Дойти до него... ну как взобраться на Эверест или Памир — в общем, непросто. Но если дойдешь, дойдешь и сорвешь золотой мандарин, то твое желание обязательно сбудется!

— Любое? — хрипло спросила Наташа.

— Любое! — серьезно подтвердил Галаев.

Наташа молчала.



— Эй! — Он тронул ее за плечо. — Наташа, очнись! Ты что, и вправду поверила?

Она медленно перевела взгляд от картины на него. Посмотрела ему в глаза.

— Ты же сам говорил: волшебная сила искусства.

— Глупенькая моя! — вздохнул он и прижал ее к себе.

И тихо добавил: — Спасибо.

«Моя». Он сказал «моя»! Сердце зашло от счастья.

В Третьяковке, куда он ее сводил, она долго разглядывала странные и непонятные картины — правда, как звали художников, не запомнила, с фамилиями у нее трудности. Но странными и непонятными они были только на первый взгляд. А если внимательно присмотреться и рядом есть человек, который может тебе объяснить, совсем другое дело.

И все-таки ей не понравились кривые, словно составленные из кубиков, лица, и странная, похожая на мальчишку, тощая и кривая, словно вывернутая, девчонка на шаре, и здоровенный, страшноватый мужик. Не понравились и толстые, кривоногие, очень губастые черные женщины с голыми обвисшими грудями, в ярких цветастых юбках и с фруктами в руках. И похожие на пришельцев-инопланетян гнутые оранжевые не то девушки, не то мужики, в общем, не поймешь кто, танцующие хоровод, тоже произвели на Наташу странное впечатление.

И пусть Чингиз объяснял ей, что это специальное течение, революционное, смелейшее направление, переворот в живописи и все остальное, она, конечно, кивала, но ей по-прежнему нравилось совершенно другое.

У невероятно огромной, почти во всю стену, картины «Явление Христа» она столбенела. Невероятно! Какие живые, красивые лица! Как здорово выписан человек — каждый волосок, каждый пальчик!

А всадница на коне — темноволосая красавица в шляпе и шелковом блестящем платье! А рядом прелестное куд-



Мандариновый лес



рявое дитя и худющая, с умными глазами собака. Или смущенная молодлица, убегающая от жениха. Изящные балерины или желтые подсолнухи, обычные и даже нормальные. И румяные, пухлые, милые дамочки в шляпках, шурящиеся на солнце. И Париж в голубой дымке ей тоже понравился — пусть необычно, но понятно и очень красиво.

А что красивого в человеке, состоящем из кубиков? Или в нищем, ободранном, жалком старике, с глазами, полными слез? При виде него сжимается сердце, хоть плачь. А она хочет радоваться и любоваться.

Но вслух ничего не сказала. Он тратит на нее время, терпеливо рассказывая, что и как, называет имена художников и объясняет их манеру письма.

Наташа, как прилежная ученица, даже хотела записывать — в голове была полная каша. Да и фамилии все иностранные, незнакомые — попробуй запомнить! Но так и не вытащила свой блокнот и ручку. Как всегда, постеснялась.

«Вот так и он, — подумала она. — Придумал какой-то мандариновый лес, а его не бывает. И почему обязательно лес? И чем его не устроил мандариновый сад?» Но не ей судить, не ей, с ее-то образованностью. И вообще, какое она имеет на это право? Да, непонятно и далеко от реальности. Но разве дело в этом? Чингиз говорил, что искусство должно волновать, трогать душу. Заставлять возмущаться, даже негодовать, но непременно цеплять, чтобы к картине хотелось подойти еще и еще. Чтобы она завораживала.

И все-таки странные были у них отношения. Виделись они почти ежедневно — в классах, на природе. Делали вид, что едва знакомы. Наташа была уверена, что Чингиз ее стесняется — вон сколько вокруг симпатичных, образованных и талантливых, модных студенток! А она жалкая натурщица, позирующая полуголой за крошечную зарплату. Да и к тому же она не наглая и нахальная Людка, которая на равных ржет и болтает в курилке со студенческой братией.



Кроме музея, Чингиз ничего не предлагал — ни сходить в кино, ни погулять в парке.

Но Остоженка оставалась, и это было самым главным. Там все происходило по единожды заведенному порядку: она ставила чайник, резала бутерброды, и они пили чай. Чингиз что-то рассказывал или молчал, ну а потом приступали к работе.

Теперь он писал ее обнаженной — ну почти обнаженной. Ее прикрывала простыня, повязанная, как римская тога, так объяснил Чингиз. Два включенных раскаленных рефлектора обжигали ей ступни. Становилось невыносимо душно, но она терпеливо молчала.

Рисовать он мог и час, и два, и даже четыре, в зависимости от настроения. У Наташи затекали спина и ноги, отнимались руки и каменела шея. Страшно стесняясь, она обливалась потом, но никогда не жаловалась, не капризничала. Только молилась: «Боженька! Продли эти минуты, я тебя умоляю! Пусть я буду ему нужна! Только пусть он захочет позвать меня снова!»

Теперь у нее был свой ключ от мастерской, и кое-какой порядок она там навела: до блеска отмыла и чайник, и единственную сковородку, и кастрюльку, в которой они варили картошку. Отдраила старую электрическую плитку, отмыла черные от заварки чашки. В углу появился новый пластмассовый тазик для стирки, в старом чемодане, который Наташа принесла из дома, лежало постельное белье. Пол вымела и почти отмыла от краски, торшер оббила новой тканью — куском пестрого шелка, оставшегося от Танькиного единственного нарядного платья. Диванчик застелила стареньким пледом. На столике теперь стояли цветы в керамической вазочке.

Осмелев, как-то притащила из дома двухлитровую банку щей, за что получила:

— Больше никогда, слышишь? Не смей. Мне этого не надо, я давно привык по-другому!



Здорово он тогда разозлился. Почему, Наташа так и не поняла. Ладно бы щи не понравились! Но ведь не попробовал, а сразу кричать. Обидно было ужасно, она ведь старалась.

Поделилась с Людкой. Та объяснила:

— Да чего тут непонятного? Не хочет он впускать тебя, не поняла?

— Как это — впускать? — переспросила Наташа. — Куда?

— Так это, — хмыкнула Людка, — обделался твой Чингизхан, испугался! Решил — сначала щи, потом лифчики с трусами свои перетащишь. А следом сама тихой сапой раз — и все, я тут живу! Дура ты, Репкина! Ты с ним поаккуратней. Прогонит взашей и не извинится! Таких, как ты, у них по три вагона на каждом шагу. Ну? Дошло до жирафа на пятые сутки?

Нет, все-таки не дошло. И что такого было в банке щей, чтобы так разозлиться?

Как-то чудно. Но обиду свою проглотила — Людка права, таких, как она, пучок на пяточок. Только совсем не так Наташа представляла отношения влюбленных. Впрочем, о чем она, о каких влюбленных? Влюбленных здесь не было — была одна влюбленная. Влюбленная дурочка Репкина Наталья.

Нет, на узеньком диванчике, застеленном свежим бельем, все было прекрасно. Он обнимал ее и шептал нежные слова. Правда, так тихо, в самую шею, что она их почти не разбирала. Но чувствовала, что это что-то нежное, сокровенное — кажется, он повторял слово «милая». Да и какая разница, что он шептал? Важно другое — она была самой счастливой.

После бурных ласк Чингиз всегда засыпал, отворачиваясь к стене, а Наташа осторожно гладила его по мускулистой и смуглой спине, тихо и аккуратно, кончиками пальцев, почти не касаясь. И смотрела на мандариновый лес.

Что она пыталась увидеть в этой темной малахитовой чаще, где на ветках непонятных, придуманных, раскидистых и густых деревьев с острыми, голубоватыми иголками, как



яркие лампочки, вспыхивали и бликовали золотисто-оранжевые шарики мандаринов? Елочные игрушки, маленькие лампочки надежды, освещающие путь, улыбалась она, крошечные солнышки в густом, темном, непроходимом и диком лесу. Да, именно так — маленькие и яркие солнышки, без которых бы все было совсем страшно и безнадежно.

Кажется, теперь она поняла, для чего все это. Дошло до жирафа. Кажется, дошло.

Там, на Остоженке, она никогда не спала. В чернильной темноте комнаты вглядывалась в его силуэт, затылок, плечо. Красивая шея. Откинута рука, красивее которой она не видела. Наташа слушала его дыхание, тревожное бормотание, и ей хотелось, чтобы он обнял ее, прижал к себе. Но он спал так крепко, что пушкой не разбудить. Так, будто ее не было рядом.

Танька ждала второго — ходила тяжело, еще больше раздалась, отекала, подурнела и почти все время плакала. Страшно болели раздутые, опухшие ноги. После работы валилась без сил. Злилась на сестру, что та забросила хозяйство, племянника и Валерика.

Наташа оправдывалась, вставала к плите и к тазам и думала об одном — как поскорее сбежать. Невыносимо. Жить там было невыносимо. Валерик по-прежнему пил, а выпив, скандалил.

Однажды Наташа увидела Таньку с огромным фингалом под глазом. Закричала как резаная:

— Гони его в шею! Ударить беременную! Боишься — сама его выгоню! Иди в милицию, пиши заявление!

Разорялась долго, а этот кретин спал, как всегда, за столом, будто ничего не произошло.

Глупая Танька ревела:

— Только попробуй! Сама тебя выгоню. Он мой муж и отец моих детей, а не нахлебник и сволочь!

Муж и отец, господи! Неужели сестра и вправду любит его?



Но ничего не попишешь — здесь все так живут. Так жили их родители, так живут их соседи, друзья и знакомые: пьянство, мордобой, бесконечные скандалы и склоки. И ничего не изменить, ничего. К сорока годам бабы превращаются в больных и разбитых старух, пацанва в четырнадцать уходит сидеть по малолетке, мужики пьют, как в последний раз, и мрут от сердца и прочих болезней.

Ничего не исправить. Выход один — убежать. Удрать из слободки, сбежать, как из тюрьмы. Впрочем, это и есть тюрьма.

На шестом месяце Танька родила мертвую девочку. Из роддома возвратилась тихая, прибитая, виноватая.

Валерик попрекал и замахивался:

— Дура, кобыла! Родить и то нормально не можешь. Не баба — дерьмо!

Танька вздрагивала и принималась реветь.

Наташа уходила из дома. Невыносимо. Видеть все это невыносимо. Невыносимо так жить.

По-прежнему болезненный, хилый и капризный племянник пошел в заводской сад. И снова бесконечные болезни, постоянные длительные больничные. К тому же он принес оттуда мерзкие ругательства, которые так странно и ужасно было слышать из детских уст.

Валерик погиб, когда Ростуку было четыре года, — пьяный переходил «железку» и попал под состав. Такие смерти здесь были привычными. Люди говорили, что «железка» забирает больше, чем водка. Только все забывали, что именно она, беленькая и проклятая, была главной первопричиной.

После похорон мужа, оплавав его, страшно, по-деревенски воя и сокрушаясь, Танька потихоньку приходила в себя. Нет, не помолодела и не поздоровела, просто притихла, почти не рыдала и наконец стала спать по ночам. Но черную гипюровую повязку с головы не снимала и на кладбище ходила каждое воскресенье.



Ей было тридцать, а на вид можно было дать все пятьдесят. Замуж она больше не собиралась — еще чего! И, кажется, в конце концов поняла, от какого груза освободилась. В июне, подкопив денег, выбила в профсоюзе путевку в Анапу. Уехали на двадцать четыре дня. Танька впервые увидела море, оно ее поразило, как и белый песок, вкуснейшие чебуреки, сладчайшие персики и виноград.

«Вот где рай, — восхищалась она в письмах домой. — А мы, Наташка, ничего про это не знали! Ох, и счастливые те, кто здесь живет!»

Людка крутила роман с женатым. Женатик был не из бедных, заведующий овощной базой. Людка оделась, как королева, — пестрые батники, джинсовое платье, туфли на платформе, французский парфюм, в ушах золотые сережки.

«Мой пусик», — называла она своего торговца.

— Конечно, он старый, противный, слюнявый! — морщилась она. — Но добрый, ничего не жалеет! Денег у меня завались. Каждый день в кабаках! А скоро махнем в Сочи. В Сочи на три ночи, — заливалась Людмила. — А что мне прикажешь? С нищим студентом, как ты? На собачьем коврик?

Но глаза у нее были... Господи, не приведи. Такая тоска в них плескалась, что становилось не по себе.

Ни за какие богатства мира Наташа не променяла бы маленькую, полутемную и убогую мастерскую на что-то другое.

Но кроме любви был еще страх — изматывающий, не проходящий, противный, как прогорклое масло. Его привкус она чувствовала всегда. Однажды Галаев скажет ей: «Все, милая. Все. Больше не приходи». Или так: «Оставь ключи на столике!» Буднично так и обычно. Просто положи ключи и уходи.

И все закончится. А что, собственно, все? Кто она? Бесплатная натурщица и уборщица? Повариха и домработница? Любовница, готовая в любую минуту лечь в постель? Даже не сожительница — с сожительницами живут общим хозяйством.



В июне Наташа ушла в отпуск.

Позвонила Людка и трындела как заведенная:

— Во-первых, Пупсик снял хату! Да, вот, представь! Пусть однокомнатную, зато с видом на Москву-реку, на Пресне! Мало того, хата, Наташка, — мечта! Короче, жду тебя завтра! Обещаю, обалдеешь, полный отпад!

Назавтра Наташа поехала на Пресню — любопытство сгубило не только кошку. Зашла в квартиру и потеряла дар речи. Да уж, Людка права — полный отпад!

В единственной комнате стояли королевская белая огромная кровать с высокой спинкой, покрытая синим шелковым покрывалом, две тумбочки, комод с зеркалом и синий бархатный пуф. Синие занавески создавали уют и загадочность. Белый ковер с синими розами, на комодe золоченые вазы и батарея Людкиных кремов и духов. У стены платяной шкаф.

Хлопая глазами, Наташа растерянно смотрела на подругу:

— А где вы... ну где вы живете?

Та закатилась от смеха.

— Вот здесь, в спальне, и живем! Точнее — в койке! Ну как тебе, а? Знаешь, как гарнитур называется?

Наташа помотала головой.

— «Людовик Четырнадцатый», это французский король, — отчеканила Людка. — Короче, я теперь королева.

На кухне все было обычно — стол, стулья, холодильник, шкафчики для посуды. Не было только плиты.

— А где плита? — осторожно спросила Наташа.

Подруга небрежно отмахнулась:

— Зачем нам плита? Пупс все приносит с собой, берет в ресторанах. А вообще-то мы ужинаем в кабаках. Смотри, какие отрастила! — И Людка с гордостью продемонстрировала длиннющие, покрытые алым лаком ногти.

Сели за стол. Демонстрируя сокровища, Людка долго держала холодильник открытым. Он и вправду был набит сокровищами, как пещера Али-Бабы. Людка небрежно швы-



ряла на стол свертки с ветчиной и сыром, батоны колбасы и банки с икрой, красной и черной.

Наташа глотала слюну. Ничего себе, бывает же, а! Впрочем, как живет советская торговля, всем известно.

После коньяка — ох, зачем она пила! — Наташа захотела спать. Слушала Людкино хвастовство и думала только о том, как бы сейчас рухнуть на диван и уснуть. Слипались глаза, и в голове была одна сплошная каша. От Людкиного ржания началась мигрень.

«Божечки, я ж не доеду до дома! — с ужасом думала она. — А на такси денег нет».

— Людка, прости, — заныла Наташа. — Я просто падаю с ног! Я полежу, ладно?

Людка усмехнулась:

— Да, мать, слаба ты на алкоголь. Прямо сломалась с третьей рюмки. Ну черт с тобой, ложись! Только учти — в пять разбужу! В шесть Пупсик приедет.

Ровно в пять Людка безжалостно затрясла Наташу за плечо.

Голова болела по-прежнему. Наскоро умывшись — Людка торопила и толкала в спину, — надела босоножки и выскочила во двор.

«Вот и погуляли, — грустно подумала она. — Какая я все-таки дура...»

На улице стало полегче, свежий ветерок обдувал и холодил лицо, тополиный пух цеплялся за волосы и оседал на ресницах.

Домой не хотелось, что там хорошего?

Вышла на «Парке культуры», ноги сами несли на Остоженку.

У двери в подвал остановилась, испугалась — как она решила вот так, без звонка и предупреждения? Было дело, хотела сбежать, как дверь отворилась и на пороге показался хозяин.

— Ты? Ну проходи.



Как она ругала себя! Какая нахалка — явилась не запылилась, да еще и под газом. От стыда не поднимала глаз.

А Чингиз, унюхав запах алкоголя, как ни странно, развеселился:

— Милая, да ты напилась!

Уложил в постель, дал таблетку от головной боли и сделал крепкого, сладкого чаю.

— Лежи, пьянчужка! — смеялся он. — Вот уж от кого не ожидал, так это от тебя. Да, удивила!

Ей было и стыдно, и сладко. Впервые он ухаживал за ней — жалел, гладил по голове, поил сладким чаем, предлагал бутерброд. Так неожиданно этот позорный кошмарный день оказался днем счастья.

В конце июня Чингиз уезжал домой, в родной Дагестан.

В июле вернулись Танька с племянником, как матери-одиночке, ей дали отпуск за свой счет, и они втроем засобирались к тетке в деревню. Неделю бегали в поисках гостинцев. Кое-что удалось урвать — растворимый кофе, полукопченую колбасу, головку сыра и пару кило московских конфет.

Путь был неблизким — больше двух часов на электричке, еще минут сорок на автобусе, а дальше вдоль поля пешком. Устали, шли медленно. Ростик ныл и просился на руки, тащили по очереди, периодически присаживаясь отдохнуть.

Но вот на горизонте показалась деревня. Одна улица, штук тридцать домов, половина пустых.

Тетка выскочила на крыльцо. Все пятеро детей большой семьи Репкиных в поисках лучшей жизни подались в города, все стали лимитчиками. Дома осталась одна тетка Марина, старая дева, она и ухаживала за родителями, «смотрела», как здесь говорили. А после их смерти уезжать было уже ни к чему: сама состарилась. В общем, так тетка осталась в деревне.

Была она крепкой, высокой, ладной, с прямой спиной и хмурым, суровым и недоверчивым взглядом. В детстве девчонки ее побаивались, но потом поняли — не злая она,



а просто несчастная. У всех семьи, дети, городская, а значит, более легкая жизнь. А у нее больные старики на руках, огород, скотина, а еще работа на ферме. Где еще можно работать в деревне?

Была ли тетка Марина девственницей, никто не знал. Шушукались, что в молодости «скрутилась» на ферме со скотником, суровым многодетным мужиком по имени Федька. Правда или ложь — какая разница. Важно, что доживала свою нелегкую жизнь тетка Марина одна. «Слава богу, что родилась крепкой», — повторяла она. Ну и жизнь закалила, тяжелая крестьянская жизнь и долгий уход за лежачими стариками.

Ах как хорошо было в деревне! Опыняющий воздух томил сердце, запах свежескошенной травы, водорослей от прудика, что располагался прямо за огородом тетки Марины и служил для полива, смешивался с запахами навоза, луговых цветов, торжественно и печально подсыхающих у крыльца розовых флоксов, сладковатым запахом опавших и подгнивающих яблок. Все это томило, наполняло сердце светлой печалью и было знакомо до боли.

А еще пьянящий запах свободы, простора, мощи, шири, размаха от раскинутого безбрежного поля, от леса, стоящего вокруг, от тоненькой серебристой речки, змейкой изви- вающейся за лесом. И запахи дома, свежего хлеба, еще горячего, обжигающего руки, запах только что вытащенного железным ухватом варенца с самой вкусной, хрустящей, коричневой, словно шоколадной, корочкой, запах полыни и зверобоя, парного молока, подушек, набитых свежим сеном, запах вымытых деревянных полов. Все это немедленно возвращало в детство, далекое и счастливое, когда за столом сидели все, и все были живы — и бабушка Паня, крошечная, как гном, шамкающая беззубым, вечно смеющимся ртом. И дед Ваня, огромный и шумный, притихший только от старости и болезней, и молодая тетка Марина, высокая, ладная,



спорая, покрикивающая на стариков. И мама с отцом. Мама, с ее вечной тревогой и страхом и тихим шепотом: «Коля, не пей!» И разудалый, лихой отец, отмахивающийся от мамы: «Маруська, отстань! Закройся, не доводи до беды!»

Бедная мама в такие минуты испуганно замолкала, остановить отца могла только тетка Марина. Резким движением выхватывала бутылку с самогоном и, сурово сдвинув брови, гнала брата спать — стелили ему на сеновале.

Мама благодарила золовку.

Весь месяц законного отпуска делали заготовки на зиму.

Девчонки бегали по грибы и ягоды, а женщины, мама и тетка, варили варенье, закручивали банки с соленьями и компотами, собирали свеклу, капусту, морковь и спускали все это в погреб, до отъезда. Отпуск подгадывали к августу, чтобы в конце накопать и картошки. Отпуск! Смешно. Какой уж там отдых — труд, труд целыми днями работа и суета. Мама так ни разу в жизни и не отдохнула по-настоящему. Но идти в профком и хлопотать о путевке ей было неловко: «Что вы, девочки! У нас есть Труфановка! А у других вообще ничего. Вот они пусть и едут в наш профилакторий! А мы как-нибудь. Да и потом — какой профилакторий, какой санаторий? А заготовки? А картошку копать? Нет, и не уговаривайте. Ни за что!»

Так и прожили жизнь. Мама говорила: «Жизнь, девки, борьба! Каждый день, каждый час, каждую минуту!»

Борьба? Наташе казалось это неправильным. Неужели ничего хорошего, кроме борьбы, в маминой жизни и не было? Ни радостей, ни удовольствий, только труд и мысли о том, как бы выжить?

— Было, — вздыхала мама, — конечно же, было! И сколько! А победа, Наташка? Я хоть и малая была, а все помню! Счастье всеобщее помню, танцы под патефон во дворе, песни под аккордеон! И лица такие счастливые! Все позабыли о ссорах и спорах, все друг друга любили! Правда, недолго. Скоро все вернулось на прежнее место.



Да, счастья в маминой жизни оказалось ничтожно мало — голодное, послевоенное детство, в котором все же случались радости: первое мороженое в круглой вафле, конфеты «Школьные», густой сливовый сок в гастрономе, первая кукла, дешевая, пластмассовая, облысевшая через неделю, первые туфли и пенал с картинкой. Вот и все счастье. Да еще поездки на каникулы к родне в Новомосковск, где в воздухе витал тяжелый запах аммиака от химзаводов. А потом свидания с отцом — всего-то два месяца, и сразу свадьба. Мама уже была беременна Танькой.

— Ну и полгода от силы после, — с трудом улыбалась мама. — А потом отец начал пить. Все пьют, все. — Казалось, мама оправдывала отца. — Ну посмотрите по сторонам. Все же, без исключения!

— А потом? — спрашивала Наташа. — Больше ничего хорошего не было?

Мама ненадолго задумывалась:

— Ну почему же? Было, конечно. Танька родилась, потому. Счастье было, когда пальто новое справила, да еще и с цигейковым воротником. А что, отличное пальто, правда, Наташка?

Наташа молчала. Обижать маму не хотелось, она очень гордилась пальто. Но и восхищаться было особенно нечем — темно-синий тяжелый и грубый, шершавый драп и черная, скучная цигейка на воротнике и обшлагах. Тоска.

— Еще было, — обрадованно вспоминала мама, — когда вы с Танькой в школу пошли! Нарядные такие, в белых фартуках. А банты я вам накрутила — не банты, сказка! У тебя-то, Наташка, волосы, у Таньки — пух в три ряда. И как банты мои удержались? — смеялась мама. — А когда квартиру получили? Скажешь, не счастье? А когда гарнитур отстояли?

Именно, отстояли. Три ночи записывались у мебельного. Зато потом мама плакала от счастья. Но тут же все накрыла накидушками, сшитыми из старых, выгоревших занавесок, и вся красота мигом исчезла.



— Зачем все это, — возмущалась Наташа, — если ничего не видно?

— Больше такого гарнитура у меня никогда не будет, — тихо ответила мама. — Никогда, понимаешь? И еще в кассу взаимопомощи три года платить.

Договорились, что тряпки, как называла накидушки Наташа, будут снимать на праздники, выходные и когда ждут гостей.

Но праздники случались нечасто, гости приходили еще реже, а на выходные мама хитрила и снимать забывала.

Бедная мама, мамочка! Как мало тебе выпало радостей! И как много горя... Может, мама права — это и есть настоящая жизнь? Жизнь, состоящая из будней, а не из праздников?

Судьба тетки Марины, мамы, Таньки и всех женщин слободки — как под копирку. Выходит, и у Наташи будет такая судьба. И ничего не попишешь, значит, правда, так написано на роду. И она не Людка, чтобы что-то изменить. Впрочем, так, как Людка, она и не хочет.

Через две недели в Труфановке Наташе стало скучно, и, оставив на тетку Марину сестру и племянника, она уехала в Москву. Но и в Москве было грустно — Чингиза там не было, и город без него казался чужим и недобрим.

Но долго грустить не пришлось. Через три дня позвонила Людка и страшным, зловещим шепотом приказала Наташе немедленно — слышишь, немедленно! — ехать на Пресню.

— Бери тачку, я оплачу, — шипела Людка, — так будет быстрее.

На резонный вопрос, что случилось и почему такая срочность, Людка ответила:

— Приедешь — увидишь! — И шваркнула трубку.

Ехать было совсем неохота. Наташа распланировала свой день: к соседке Тамаре постричься, потом погладить летние вещи, сварить что-нибудь на обед — вдруг захотелось холодных зеленых щей со сметаной, — а потом позволить се-



бе погрузить в тишине и одиночестве, которого она всегда была лишена.

Но нет, не получилось. Наспех одевшись, выскочила на улицу. Наудачу такси, редкую птицу в слободке, поймала мгновенно.

Людка открыла с выпученными глазами и со страшным, зверским, перекошенным лицом втащила Наташу за шкуру в квартиру.

— Иди на кухню! — велела она.

На столе стояли немытая кофейная чашка и большая хрустальная пепельница, переполненная окурками. Окно было закрыто, и под потолком висело плотное облако табачного дыма.

Людка плюхнулась на табуретку и закурила.

Поморщившись, Наташа открыла окно.

— Да что случилось? — решила она внести ясность. — Что за срочность такая?

Людка в упор уставилась на нее, словно о чем-то раздумывая. И наконец кивнула на закрытую дверь комнаты.

— Знаешь, что там? — спросила она.

Наташе вдруг стало страшно, и от страха она неловко пошутила:

— Труп, что ли? Убила кого?

— Труп. Только он сам, понимаешь? Я тут ни при чем!

— Кто сам? — еле выговорила Наташа.

— Кто, кто? — разозлилась Людка. — Пупс, кто же еще? Пришел, пожрал, выпил, лег и помер! Захрипел, как конь, и тут же отошел, понимаешь? В секунду! Я прям... Ой, что говорить! — Людка махнула рукой. — Обделалась прям! Еле до сортира добежала! Да еще и блеванула со страху.

— Он умер? — одними губами проговорила Наташа. — Ты в этом уверена?

— Пойдем! — гаркнула Людка, схватив подругу за руку.

Наташа, упираясь изо всех сил, в ужасе зашептала:



— Нет, нет, я не пойду! Боюсь! Не пойду — и все, слышишь? И отпусти, мне больно!

— Хороша подруга! — с негодованием воскликнула Людка. — Мне что, всё одной?

— Что — всё? — онемела от страха Наташа.

Но Людка уже тащила ее по узенькому коридору.

На шикарной кровати «Людовик Четырнадцатый», раскинув огромные, волосатые руки, лежал определенно мертвый человек. Откинута голова с блестящей проплешиной была повернута набок, но лицо, искаженное гримасой боли и удивления, было отлично видно: полуоткрытые выпуклые глаза, немного скошенный, крупный нос и раскрытый, полный золотых коронок синеватый губастый рот.

Мужчина был голым, но, по счастью, ниже пупка закрыт простыней, из-под которой высовывались правый бок и темная от волос нога.

На шее блестела широкая золотая цепь с крупным кулоном, на руке под светом хрустальной люстры поблескивали массивные золотые часы, а на безымянном пальце с бледным широким ногтем виднелось огромное золотое кольцо с прозрачным и крупным камнем.

— Божечки мои, — прошептала Наташа. — Какой ужас, Людка! Ты вызвала «Скорую»? И милицию надо, наверное?

— Идиотка! — зашипела Людка. — Какая милиция? Ты что, хочешь, чтобы меня посадили?

— За что? — удивленно спросила Наташа. — Ты же сказала, он сам...

— Идиотка! — с удовольствием повторила Людка. — Конечно же, сам! Не я же его... У нас даже ничего не было! Не успели! Но милиция, «Скорая» — нет! Ты только представь: следствие, допрос. Будут допытываться, кто я ему. Жена узнает, дети. Мне это надо?

— А что же делать? — беспомощно пробормотала Наташа. — Нельзя же оставить вот так!



— Слушай меня, — сурово проговорила Людка. — Сейчас все соберем, и тью-тью! Меня здесь никто не знает, чай я ни с кем не пила и дружбы не заводила. Все соберем, погрузим в машину — и поминай, как звали!

— Но сбежать как-то... не по-человечески, Люд, — тихо сказала Наташа.

Людка посмотрела на нее как на умалишенную.

— Я тебя для чего позвала? Для помощи, понимаешь? Я попала в ужасную ситуацию, а ты мне тут лекции будешь читать? Делай, что я говорю, и молчи ради бога! Я и так на грани истерики — такое пережить! А тут еще ты, моралистка!

Стараясь не смотреть на кровать с мертвецом, Наташа принялась помогать.

В сумки, пакеты и чемоданы пихали наряды и обувь, магнитофон и духи, косметику и постельное белье, блоки красно-белых импортных сигарет и бутылки с напитками, каких Наташа раньше и не видывала. Махровые мягчайшие полотенца, хрустальные фужеры и коробки конфет. Потом Людка стала опорожнять холодильник. В сумку полетели палки колбасы и упаковки сыра, бряцнули банки с икрой и ветчиной, банки с кофе.

— Может, не надо? — осторожно спросила Наташа. — Как-то совсем некрасиво.

— Ты опять за свое? — обиделась Людка. — Что некрасиво? Ему-то уже все равно, а мне надо жить! А на что — ты не скажешь? Да и вообще, чего добру пропадать? Все равно все стащат — менты, врачи, соседи! Дура ты, Репкина! Все, заткнись, уже недолго осталось!

Запыхавшись, сели. Людка закурила.

— И что дальше? — спросила Наташа. — Ты представляешь, что с ним будет через два дня?

— Я все продумала. Дверь оставим открытой. Ну приоткрытой! Соседи и сунутся. А дальше — «Скорая», менты. Все будет понятно — хата для телок. По паспорту установят имя,



фамилию, место прописки. Сообщат семье. Не бойсь, все будет нормально! А мы с тобой, — озабоченно вздохнув, Людка оглядела деловым взглядом кухню, — проверим, что и как, и — вперед! Сбегаешь за машиной?

Наташа нерешительно кивнула. Людкин напор ее всегда парализовывал. А уж сегодня тем более.

Последнее, что она увидела из прихожей, — как Людка вынимает здоровую пачку денег из кожаного портмоне мертвого любовника. Столько денег Наташа никогда не видела — пачка с трудом помещалась в Людкиной руке.

Увидев онемевшую подругу, та, кивнув на кровать, усмехнулась:

— Жаль, что цапки нельзя снять — опасно! Знаешь, сколько стоят часы и кольцо? Там бриллиант в три карата, прикинь!

Наташа выскочила из квартиры. От пережитого ее затошнило. Скорее бы все закончилось, господи! Скорее бы все прошло! И поскорее бы забыть весь этот кошмар! Но понимала — забыть не удастся, это с ней на всю жизнь. И еще — поскорее бы распрощаться с Людкой. Навсегда. Видеть ее было невыносимо.

В такси с трудом поместились сумки и чемоданы.

Плюхнувшись на переднее сиденье и облегченно выдохнув, Людка с удовольствием закурила.

Нахмурившийся шофер сделал ей замечание.

— Шеф, не бойсь! — засмеялась она. — Не обижу! Придется тебе потерпеть. Женщина в трауре.

— Что-то не похоже, — хмыкнул шофер и открыл пошире окно.

Всю дорогу ехали молча. Прислонившись к сумкам, Наташа дремала.

Въехали в слободку, остановились у Людкиного дома.

— Можно вещи пока к тебе? — спросила Людка. — Сама понимаешь: если внесу все домой, что там начнется.



— А дальше что? — хмуро спросила Наташа. — Ну, допустим, оставишь у меня. А через неделю Танька с Ростиком возвращаются.

— А через неделю меня здесь не будет! Деньги есть, сниму хату и — прощай, Воронья слободка! Завтра же займусь! Нет, сегодня! С бабками ничего не страшно, в два дня найду! Ну что? Можно? — нетерпеливо повторила она. — Чё застыла?

Наташа кивнула. Противостоять Людке она никогда не могла. Да и понять ее можно... Да, можно, только очень не хочется. И самое главное — как ей сказать, чтобы ночевать шла домой? Совсем неохота быть вместе. Совсем.

Но Людка, выпив кофе с бутербродами, деловито переоделась, накрасилась и сказала, что идет по делам.

Закрыв за ней дверь, Наташа облегченно выдохнула. Побродив по заставленной квартире, прилегла на диван и заплакала.

Ей было жалко всех — брошенного как собаку покойника, себя, их сломанную детскую дружбу с Людкой. И вообще была такая тоска — хоть волком вой! И, уткнувшись в подушку, Наташа заскулила.

Людка вернулась поздно, довольная и счастливая. Квартира нашлась, да еще и отличная — однушка на «Университете», в старом доме, правда заброшенная и ободранная, после старой бабули. Зато рядом метро и просторная. А побелить потолки и переклеить обои — плевое дело.

— В общем, через неделю перееду! Когда, ты сказала, возвращается Танька? Ну и отлично! — Людка громко и протяжно зевнула.

— Тебе его совсем не жалко? — тихо спросила Наташа.

— Жалко, — равнодушно ответила Людка. — Но больше жалко себя. Как я теперь? Работать неохота, а денег надолго не хватит. Эх, надо было взять кольцо, надо! Такие бабки! — вздохнула она.

— Мародерка. — Наташа отвернулась к стене.



Только бы не заплакать — совсем не хотелось плакать при Людке.

Подруга съехала, и Наташа немного успокоилась — общаться после случившегося было невыносимо — и тут же рванула в деревню. В Москве было жарко, делать было совершенно нечего, сидеть в пустой душной квартире и слушать вопли соседей ей не хотелось.

Уехала рано, а добралась только к вечеру — попала в перерыв на вокзале. Слоняясь по перрону, съела три пирожка, два мороженых и даже вздремнула на скамейке.

Шла через поле и собирала васильки и луговые ромашки. Ах, как пахло полем и землей, хвоей и грибами, как восхитительно пахло свежестью и свободой!

Добрела до дома и плюхнулась на крыльцо, сил не было двинуться.

Выскочили и тетка Марина, и сестра Танька, и даже Ростик обрадовался и обнял ее за шею.

Наташа удивилась, как изменился племянник — всего-то пару недель, а поправился, вытянулся, загорел, наел щеки. Но самое главное — он улыбался и без конца что-то рассказывал.

Тетка Марина собирала ужин, а они с Танькой сидели на крылечке.

Наташа пригляделась к сестре — кажется, что-то поменялось. Черную вдовью повязку Танька сняла. Подкрашенные ресницы — ого, и это в деревне! — тронутые помадой губы. Такого Наташа не помнила. Нарядный, в мелкий цветочек, новый сарафан.

— Откуда? — спросила Наташа.

— Да тетка нашла старый штапель и сшила! А что, симпатично, правда?

— Очень, — подтвердила Наташа. — И вообще, помада тебе к лицу и сарафан! Кажется, ты похудела! И загар тебе идет!

Танька смущенно что-то пробормотала и пошла в избу.



Ужинали оладьями со сметаной, отварной картошкой с молодым чесноком и укропом — еще мелкой, но вкуснее ее нет.

После ужина сразу разбрелись по кроватям — Наташа от усталости после дороги, тетка Марина по деревенской привычке, Ростик, как и положено ребенку. Танька, вымыв посуду, легла в сених.

Среди ночи Наташа пошла по нужде. Громко, по-мужички, храпела тетка Марина, тихо постанывал Ростик. А вот сестрицы на месте не было — тоже до ветру? Но в туалете никого не было. Странное дело.

Прошлась вокруг дома, вышла за калитку — звенящая тишина, тишина и пугающая благодать.

Только вот Танька пропала.

С колотящимся сердцем растормошила тетку Марину.

— Чего? — не поняла спросонья она. С тяжелым вздохом свесив отекишие, полные, с крупными, мужскими ступнями ноги, тетка села на кровати. Громко, со смаком зевнула и махнула рукой: — Никуда твоя Танька не пропала. И волки ее не съели. Любовь у нее, поняла? Закрутила с Петькой теть-Настиным! Вот и шляется по ночам. — Тетка снова зычно зевнула. — Ну и пусть шляется. Парень он хоть и чудной, но хороший. Пьет только по праздникам, да и то не по-свински. И работник хороший. Хозяин справный. За матерью, теткой Настасьей, хорошо ходит. Пусть и нашей Таньке чуть-чуть бабского счастья достанется. Что она видела-то? Пьяное мурло своего Валерки? Синяки под глазами? Несчастливая баба. Все, я до ветру, раз уж проснулась, а ты, Наташка, спи, досыпай!

Вот так дела! Взволнованной Наташе никак не удавалось уснуть. Вот сестрица дает! Тихоня, а на тебе!! Ну и хорошо, ну и отлично!

Кряхтя и шумно, по-стариковски вздыхая, укладывалась тетка Марина. Притих и посапывал Ростик. За окном занимался белесый, расплывчатый рассвет. Робко распевались



птицы. Из полуоткрытого окна веяло свежестью и подсыхающим сеном. И Наташа наконец крепко уснула.

Проснулась от запаха жареной картошки. Как все деревенские, тетка привыкла завтракать обстоятельно.

— Карасей вон Петька принес. — Тетка кивнула на сковородку со шкворчащими мелкими рыбешками. — Хоть и костлявые, а вкуснота!

Проснувшийся Ростик шумно шаркал по залу.

Танька спала, и на ее счастливом, незнакомом, помолодевшем лице застыла легкая, загадочная улыбка.

Такой Наташа ее еще не видела. Танька словно проснулась после долгой, изнурительной и тяжелой спячки — прежде копуха, росомаха, неловкая и бестолковая, полуспящая курица, теперь это была быстрая, ловкая и спорая хозяйка. Она светилась — ожили, расцвели и стали неожиданно ярко-голубыми прежде безжизненные и блеклые, снулые, словно рыбы, глаза. Не было отека, рыхлого, как непропеченное тесто, лица — подбородок заострился, скулы неожиданно прорезались. Закудрявились, обрели золотистый цвет висевшие прежде мертвой паклей бесцветные волосы. Впервые появилась талия, построились ноги, неожиданно оказавшиеся полноватыми, но красивыми.

Танька летала по избе, попеременно поглядывая в окно. Летала и напевала.

Тетка Марина с усмешкой поглядывала на растерявшуюся Наташу. А та только хлопала глазами и не могла поверить в происходящее. Чудеса, да и только! Ох, но что теперь будет? Через неделю надо возвращаться в Москву, выходить на работу, отдавать Ростика в сад.

Как Танька расстанется с любимым? Неужели женское счастье такое короткое, а горе длинное, бесконечное?

С замиранием сердца смотрела она на сестру.

Но все повернулось совсем неожиданно и стало так просто и ясно, так единственно мудро и правильно, что ошарашенная Наташа окончательно растерялась.



Сестра приняла решение легко и быстро, словно и решать, думать здесь было не о чем. Влюбленные сговорились без ссор и споров: Танька с сыном остается в деревне, Ростик растет на природе и на парном молоке.

— Ты же видишь, как он изменился и получшал! — повторяла сестра, и это, кстати, было чистойшей правдой.

Рассуждала она спокойно и здраво:

— Петя работает в совхозе, а я на хозяйстве — огород, дом, ребенок. И тетя Настя — сама знаешь, лежачая, то то, то это, а Петя на работе. А тут я!

— А школа? — спросила Наташа. — Через год Ростик у в школу.

— Петя будет возить, — махнула рукой сестра и с гордостью добавила: — У нас же машина!

Машина. И смех и грех — древний, полуразваленный, ободранный и дребезжащий «москвичонок»! Но ведь и вправду машина.

Петя Наташе понравился — с виду хмурый, а глаза добрые. Да и к Ростик у хорошо относится. А уж к сестрице! Не налюбуется, сразу видно: то втихаря по руке погладит, то зажмет в коридоре. А Танька счастливо смеется — ей-богу, как девочка!

Расписались по-скромному, посидели у тетки Марины под пироги и жареного гуся.

Тетя Настя, уже и не чаявшая увидеть сына женатым, все время плакала и называла Таньку дочусей, а Ростика внуком.

«Как все странно сложилось, — думала Наташа. — Танька нашла свое счастье, Ростик, кажется, отца. Тетка Марина счастлива — рядом родная душа. А уж как счастлива Танька! И все правильно — что ей в этой Москве? Что она видела там, кроме горя?»

В Москву поехали на ветеране-«москвичонке», который вставал на дороге раз пять. Танька — уволиться и забрать ве-



щи, подкупить нужного, забрать медицинские карты. В общем, попрощаться с прежней жизнью.

— Век бы не видеть, — повторяла Танька, — ни слободку эту, ни завод!

«Счастливая Танька, — думала Наташа. — Нашла свою судьбу, а главное, точно поняла, что главное в жизни. Молодец, не раздумывала!» Она была счастлива и за сестру, не видевшую ничего хорошего в жизни, и за племянника, и за молчаливого и хмурого, но точно хорошего нового родственника.

Расставаясь, ревели обе. Танька взяла с Наташи слово приезжать хотя бы раз в полгода, Ростик обнял тетку за ноги, а страшно смущенный зять прошептал:

— Не бойся, Наташка. Теперь я за них отвечаю.

Это были дорогие слова. «Отвечаю» — так мог сказать только настоящий мужчина.

И еще Танька предложила:

— Квартиру, Наташка, меняй, нечего тебе в слободке сидеть! Сменяй на нормальный район, пусть на однокомнатную, но отсюда драпай, сестра, беги что есть мочи.

— А если ты... — осторожно сказала Наташа, — если с Петей не сложится?

— Нет, Наташка, в Москву я не вернусь, — решительно ответила сестра. — Ни за что не вернусь, не беспокойся. Если с Петей не сложится, — она улыбнулась, — тогда пойду к тетке. Знаешь, что я поняла? — Танька рассмеялась. — Деревенская я! Нутро у меня деревенское, от папки досталось! Хорошо мне в деревне, спокойно. Не то что в городе. В общем, меняй — и дело с концом!

Маклера по обмену по имени Стасик, маленького, с пузцом, с узкими, хитрыми, испуганными, бегающими и косыми глазами, нашла всемогущая Людка.

Кстати, у той все было неплохо — новым жильем она была довольна, новой работой тоже. Трудилась Людка теперь



в ресторане сервизницей, ведала посудой. Списывала бой, выдавала новую, слегка приторговывала на стороне. В общем, денежка водилась, как говорила подруга. Да и кормилась там же, в ресторане, и кое-что с собой выносила.

— По ерунде, но прибыток, — говорила она. — Хорошее все поварам, дальше мэтр, следом официанты и бармен, а я уж в конце. Но не в самом, не думай! За мной еще посудомойки и поломойки, ха-ха!

Наташа ничего и не думала. Людка есть Людка, что говорить.

Маклер Стасик предложил два варианта — однокомнатную в Тушине и однокомнатную в Черемушках.

Конечно, Черемушки! Да и квартирка Наташе понравилась — окна во двор, под окном здоровенный куст белой сирени, чистый подъезд, до метро десять минут. О чем еще мечтать? К тому же квартирка оказалась и с балконом. Стала собирать документы на обмен.

Когда все бумаги — ох и хлопотное это дело! — были собраны, Людка позвонила уточнить, какую сумму Наташа взяла в качестве доплаты.

— Как никакую? — обалдела подруга. — Ты что, дебилыная? Ты ж отдаешь им четырнадцать квадратов, идиотка! И ни черта с них не берешь?

Наташа что-то бормотала в свое оправдание — мол, сама знаешь, что такое наша слободка, знаешь, какие у нас соседи — Валька скандалит и бьет посуду, Юрка крушит мебель, тетя Зина рыдает на весь дом, когда сыночек Володька отбирает у нее пенсию. Да и вообще не о чем говорить — хочу уехать и забыть все как страшный сон. И вообще, Людка, — Наташа отвлекала подругу, — там, на Власова, в Черемушках, такая красота! А какая сирень у меня под окном! А тишина! И соседи такие хорошие, тихие, интеллигентные! Да и мои — так она назвала людей, с кем менялась, — такие несчастные. Думаешь, они просто так из такого рая в наше дерьмо уезжают? Ситуация у них, понимаешь? Дедушка па-